

# Постановка Сократом вопроса о справедливости

Билин А., Апатиты 2022

*От составителя: Это даже не пересказ, а просто добросовестное цитирование перевода А. Н. Егунова части 1 книги Платона «Государство», из которого лишь чуть-чуть устранены посторонние темы и отвлечения, которые можно было сократить.*

Повествование представляет собой подробный конспект беседы. У древних греков не было интернета, телевидению, радио, не было газет, поэтому их память часто была «незамутненной», свободной от присущего нашему времени информационного шума и мусора, и они на лету схватывали и запоминали мифологические притчи и понравившиеся рассказы. Цивилизация в целом была «устной», хотя от того периода сохранилось немало книг. Но еще большее количество не дошло до нас.

Платон стал учеником Сократа лишь спустя 4 года после этой беседы, но на ней в группе паломников присутствовали два его старших брата, Адимант и Главкон. По видимому кто-то из них и законспектировал понравившуюся речь. Или сам Платон, которому в это время было около 16 лет, запомнил и записал подробный восторженный пересказ и обсуждение своих братьев. Злополучный Алкивиад в диалоге «Пир» дал ёмкую характеристику речам Сократа: «Когда мы, например, слушаем речь какого-нибудь другого оратора, даже очень хорошего, это никого из нас, правду сказать, не волнует. А слушая тебя, Сократ, или твои речи в чужом, хотя бы и очень плохом, пересказе, все мы, мужчины, и женщины, и юноши, бываем потрясены и увлечены.»

Как бы то ни было Платон, возможно дополнив диалог своими аргументами и репликами спорщиков, увековечил эту беседу в одном из своих ранних произведений.

Рассмотрение поражает своей глубиной и продуманностью и являет собой яркий пример полемического стиля Сократа. Сократ часто так глубоко владел предметами своих споров, притворяясь

простаком, подбирал цепочки аргументов таким образом, что его противнику в диалоге оставалось недоуменно поддакивать, когда совершенно искренне, а когда и вынуждено, сквозь зубы, признавая несостоятельность своих предыдущих высказываний.

Эта беседа состоялась, вероятнее всего, в 411 году до нашей эры, когда Сократ с группой своих учеников посетил в Пирее дневной праздник богини Артемиды, где было ее святилище. С греческой Артемидой отождествляли фракийскую богиню Бендиду и на праздник прибыла внушительная делегация фракийцев, участвующая в совместном представлении. Сократ отметил, что прекрасно было торжественное шествие местных жителей, однако не менее удачным оказалось и шествие фракийцев.

А на вечер, после захода Солнца, было намечено продолжение праздника – конная эстафета с факелами в честь богини и ночные торжества. Пережидая перерыв в торжествах, группа участников по приглашению Полемарха зашла в его дом, где их встретил хозяин дома, почтенный старец Кефал, – известный оратор, сицилиец, сын Лисания и отец знаменитого оратора Лисия, приехавший в Афины по приглашению Перикла.

Кефал приветствовал Сократа:

– Ты, Сократ, не частый гость у нас в Пирее. Это напрасно. Будь я еще в силах с прежней легкостью выбираться в город, тебе совсем не понадобилось бы ходить сюда – мы бы сами посещали тебя там; но теперь ты должен почаще бывать здесь: уверяю тебя, что, **насколько во мне угасли всякие удовольствия, связанные с телом, настолько же возросла потребность в беседах и удовольствии от них.**

– Право же, Кефал, – ответил Сократ, – мне приятно беседовать с людьми преклонных лет. Они уже опередили нас на том пути, который, быть может, придется пройти и нам, так что, мне кажется, нам надо у них расспросить, каков этот путь – тернист ли он и тягостен, или удобен и легок.

– Тебе, Сократ, – отвечал Кефал, – я, клянусь Зевсом, скажу так, как мне кажется. Часто сходимся мы вместе, люди примерно тех же лет, что и я, оправдывая старинную поговорку. < "Сверстник

радует сверстника, старик–старика"> И вот, когда мы соберемся, большинство из нас с сокрушением вспоминает вожделенные удовольствия юности – любовные утехы, попойки, пирушки и тому подобное – и брюзжат, словно теперь это для нас великое лишение: вот тогда была жизнь, а это разве жизнь! А по мне, Сократ, они напрасно ее винят: если бы она была причиной, то и я испытывал бы то же самое, раз уж я состарился, да и все прочие, кто мне ровесник. Между тем я не раз встречал стариков, у которых все это не так; например, поэту <и великому греческому драматургу, с большим трагизмом изобразившему старого, слепого, одинокого царя Эдипа ("Эдип в Колоне")> Софоклу был при мне задан такой вопрос: "Как ты, Софокл, насчет любовных утех? Можешь ли ты еще иметь дело с женщиной?". - "Помолчал бы ты, право, – отвечал тот, – я с величайшей радостью ушел от этого, как уходят от яростного и лютого повелителя".

Ответ Софокла мне и тогда показался удачным, да и теперь нравится не меньше. Ведь в старости возникает полнейший покой и освобождение ото всех этих вещей; утихает и прекращается напряженность влечений, полностью возникает такое самочувствие, как у Софокла, то есть чувство избавления от многих неистовствующих владык. А им и домашним неприятностям причина одна – не старость, Сократ, а самый склад человека. **Кто вел жизнь упорядоченную и был человеком добродушным, тому и старость лишь в меру трудна.** А кто не таков, тому, Сократ, и старость, и молодость бывает в тягость.

В восхищении от этих слов и желая вызвать Кефала на дальнейший разговор, Сократ сказал:

– Мне думается, Кефал, что люди, скажи ты им это, не согласятся с тобой, – они решат, что ты легко переносишь свою старость не потому, что ты человек такого склада, а потому, что ты обладатель большого состояния. **Они считают, что у богатых есть чем скрасить старость.**

– Ты прав, – сказал Кефал, – они не согласятся и попытаются возражать, однако, что бы они там ни думали, хорош ответ Фемистокла:

"Да, и человеку кроткого нрава не очень-то легко переносить старость в бедности, но уж человеку дурного нрава, как бы богат он ни был, всегда будет в старости как-то не по себе."

– Конечно, но скажи мне еще следующее: при значительном состоянии что бы ты считал самым большим и достижимым для тебя благом?

– Большинство не поверит моим словам. Знаешь, Сократ, когда кому-нибудь близка мысль о смерти, на человека находит страх и охватывает его раздумье о том, что раньше и на ум ему не приходило. Сказания, передаваемые об Аиде, – а именно, что там придется подвергнуться наказанию, если кто здесь поступал несправедливо, – он до той поры осмеивал, а тут они переворачивают его душу: что если это правда? Да и сам он – от старческой ли немощи или оттого, что уже ближе стоит к тому миру, – как-то больше прозревает.

Обладание состоянием очень ценно, но, конечно, не для всякого, а лишь для порядочного человека. Отойти отсюда в тот мир, не опасаясь, что ты, пусть невольно, обманул кого-нибудь, соврал кому-нибудь или же что ты в долгу перед богом по части каких-либо жертвоприношений или перед человеком по части денег, – во всем этом большое значение имеет обладание состоянием. Есть много и других надобностей, но, сравнивая одно с другим, я бы лично полагал, Сократ, что во всем этом для человека с умом богатство – не последнее дело и очень ему пригодится.

– Прекрасно сказано, Кефал, но вот это самое – **справедливость: считать ли нам ее попросту честностью и отдачей взятого в долг, или же одно и то же действие бывает подчас справедливым, а подчас и несправедливым?** Я приведу такой пример: если кто получит от своего друга оружие, когда тот был еще в здравом уме, а затем, когда тот сойдет с ума и потребует свое оружие обратно, его отдаст, в этом случае всякий сказал бы, что отдавать не следует и несправедлив тот, кто отдал бы или пожелал бы честно сказать всю правду человеку, впавшему в такое состояние.

– Это верно.

– Стало быть, **не это определяет справедливость: говорить правду и отдавать то, что взял.**

– Нет, именно это, Сократ, – возразил Полемарх, – если хоть сколько-нибудь верить Симониду.

На этих словах Кефал, покинул своих гостей, чтобы как глава дома заняться священнодействиями. (Скорее всего: заклинанием жертвенных животных, чтобы провести гадание на внутренностях, воздать должное богам и в дальнейшем накормить своих гостей мясом жертвенных животных.) Больше Кефал не принимал участие в беседе, перепоручив диалог своему сыну Полемарху.

– Так скажи же ты, наследник Кефала в нашей беседе, – обратился Сократ к Полемарху, – какие слова Симонида о справедливости ты считаешь правильными?

– Да то, что **справедливо отдавать каждому должное.** Мне по крайней мере кажется, что это он прекрасно сказал.

– Значит, у Симонида, по-видимому, какой-то другой смысл в утверждении, что справедливо отдавать каждому должное.

– Конечно, другой, клянусь Зевсом. Он считает, что **долг друзей делать что-нибудь хорошее своим друзьям и не причинять им никакого зла.**

– Понимаю, – сказал Сократ, – когда кто отдает вверенные ему деньги, он отдает не то, что должно, если и отдача и прием наносят вред, а между тем дело происходит между друзьями. Не об этом ли, по-твоему, говорит Симонид?

– Конечно, об этом.

– Ну а врагам, если случится, надо воздавать должное?

– Непременно, как они того заслуживают. Враг должен, я полагаю, воздать своему врагу как надлежит, то есть каким-нибудь злом.

< Эта традиционная этическая норма о справедливости как воздаяние добра друзьям и зла врагам вызывала постоянный протест Сократа. <См. т. 1, "Менон", 71e. т. 1, "Критон", прим. 11; "Горгий", прим. 28.>

– Выходит, что Симонид дал лишь поэтическое, смутное определение того, что такое справедливость, вложив в него, как кажется, тот смысл, что справедливо было бы воздавать каждому надлежащее, – а это он назвал должным.

– Значит, **творить добро друзьям и зло врагам** – это Симонид считает справедливостью?

– По-моему, да.

– А что касается болезней и здорового состояния, кто всего более способен творить добро своим друзьям, если они заболеют, и зло – своим врагам?

– Врач.

– А мореплавателям среди опасностей мореходства?

– Кормчий.

– Как же обстоит дело с тем, кто справедлив? Какими действиями и в какой области он всего способнее принести пользу друзьям и повредить врагам?

– На войне, помогая сражаться, мне кажется.

– Прекрасно. Но, дорогой мой Полемарх, тем, кто не болен, врач не нужен. А кто не на море, тому не нужен и кормчий.

– Да.

– Значит, кто не воюет, тем не нужен и справедливый человек?

– Это, по-моему, сомнительно.

– Так справедливость нужна и в мирное время?

– Нужна.

– Для какой надобности и для приобретения чего, по-твоему, нужна в мирное время справедливость?

– Она нужна в делах, Сократ.

– Будет ли хорошим и полезным участником в игре в шашки тот, кто справедлив, или же тот, кто умеет играть?

– Тот, кто умеет играть.

– А при кладке кирпича или камня справедливый человек как участник полезнее и лучше, чем строитель? Нет! Например, для игры на кифаре кифарист предпочтительнее справедливого человека. А в чем же участие справедливого человека предпочтительнее участия кифариста?

– В денежных делах, как мне кажется.

– За исключением, может быть, расходования денег, Полемарх. Ведь когда понадобится сообща купить или продать коня, тогда, думается мне, полезнее будет наездник.

– Видимо.

– А при приобретении судна – кораблестроитель или кормчий.

– Бывают, Сократ. Это когда надо отдать их на хранение или сбережение.

– То есть, по твоим словам, когда они лежат без употребления?

– Конечно.

– Значит, **когда деньги бесполезны, тогда-то и полезна справедливость?**

– Похоже, что это так.

– Пожалуй, ты скажешь, что когда нужно хранить щит и лиру и в то же время ими не пользоваться, справедливость полезна, а когда нужно пользоваться, тогда полезно умение тяжело вооруженного пехотинца и музыканта.

– Непременно скажу.

– Стало быть, друг мой, справедливость – это не слишком важное дело, раз она бывает полезной лишь при бесполезности. Давай рассмотрим вот что: кто мастер наносить удары в кулачном бою или в каком другом, тот, не правда ли, умеет и уберечься от них?

– Конечно.

– И воинский стан тот лучше оберегает, кто способен также проникнуть тайком в замыслы неприятеля и предвосхитить его действия?

– Конечно.



- Значит, тот горазд беречь, кто способен и плутовать.
  - По-видимому.
  - Значит, если справедливый человек способен сохранить деньги, то он способен и похитить их.
  - По крайней мере к этому приводит наше рассуждение.
  - Значит, справедливый человек оказывается каким-то вором. Это ты, должно быть, усвоил из Гомера: он высоко ставит Автолика, деда Одиссея по матери, и говорит, что Автолик превосходил всех людей вороватостью и заклинаньями.
- Так что и по-твоему, и по Гомеру, и по Симониду справедливость – это нечто воровское, однако направленное на пользу друзьям и во вред врагам. Разве ты не так говорил?
- Так.
  - А кто, по-твоему, друзья: те ли, кто кажутся хорошими людьми, или же только те, кто на самом деле таковы, хотя бы такими и не казались? То же и насчет врагов.
  - Естественно быть другом тому, кого считаешь хорошим, и отворачиваться от плохих людей.
  - А между тем хорошие люди справедливы, они не способны на несправедливые поступки. Так?
  - Это правда.
  - По твоим же словам, было бы справедливо причинять зло тем, кто не творит несправедливости.
  - Ничего подобного, Сократ! Такой вывод, конечно, никуда не годится.
  - Значит, справедливо было бы вредить несправедливым и приносить пользу справедливым людям.
  - Этот вывод явно лучше.
  - Значит, Полемарх, с теми из людей, кто ошибается, часто бывает, что они считают справедливым вредить своим друзьям – они их принимают за плохих людей – и приносить пользу своим врагам



как хорошим людям. Таким образом, мы выскажем нечто прямо противоположное тому, что мы привели из Симонида.

– Да, это часто бывает. Но давай внесем поправку: ведь мы, пожалуй, неверно установили, кто нам друг, а кто враг.

– А как именно мы установили, Полемарх?

– Будто кто кажется хорошим, тот нам и друг.

– А теперь какую же мы внесем поправку?

– Тот нам друг, кто и кажется хорошим, и на самом деле хороший человек. А кто только кажется, а на деле не таков, это кажущийся, но не подлинный друг. То же самое нужно установить и насчет наших врагов.

– Согласно этому рассуждению, **хороший человек будет нам другом, а плохой – врагом.**

– Да.

– А как, по-твоему, прежнее определение справедливого, гласящее, что справедливо делать добро другу и зло врагу, нужно ли теперь дополнить тем, что справедливо **делать добро другу, если он хороший человек, и зло – врагу, если он человек негодный?**

– Конечно. Это, по-моему, прекрасное определение.

– Значит, справедливому человеку свойственно наносить вред кое-кому из людей?

– Да, конечно, надо вредить плохим людям и нашим врагам.

– А кони, если им нанести вред, становятся лучше или хуже?

– Хуже.

– А про людей, друг мой, не скажем ли мы, что и они, если им нанесен вред, часто теряют человеческое достоинство?

– Конечно.

– Но справедливость разве не достоинство человека?

– Это уж непременно.

– А разве могут музыканты посредством музыки сделать кого-либо немзыкальным?

- Это невозможно.
- А наездники посредством езды отучить ездить?
- Так не бывает.
- А справедливые люди посредством справедливости сделать кого-либо несправедливым? Или вообще: могут ли хорошие люди с помощью своих достоинств сделать других негодными?
- Но это невозможно!
- Ведь охлаждать, я думаю, свойство не теплоты, а того, что ей противоположно.
- Да.
- И увлажнять – свойство не сухости, а противоположного.
- Конечно.
- И **вредить – свойство не хорошего человека, а наоборот, злого.**
- Очевидно.
- Между тем **справедливый – это хороший человек.**
- Значит, Полемарх, **не дело справедливого человека вредить – ни Другу, ни кому-либо иному;** это дело того, кто ему противоположен, то есть человека несправедливого.
- По-моему, Сократ, ты совершенно прав.
- Значит, если кто станет утверждать, что воздавать каждому должное – справедливо, и будет понимать это так, что справедливый человек должен причинять врагам вред, а друзьям приносить пользу, то говорящий это вовсе не мудрец, потому что он сказал неправду, – ведь мы выяснили, что **справедливо никому ни в чем не вредить.**
- Я согласен с этим, – отвечал Полемарх.

Среди гостей находится софист Фрасимах из Халкедона. Наблюдая со стороны за диалогом, он неоднократно порывался вмешаться в разговор, но его удерживали сидевшие с ним рядом – так им хотелось выслушать нас до конца. Однако чуть только Сократ и Полемарх приостановились, Фрасимах не мог более стерпеть:

– Что за чепуху, Сократ, вы несете уже с которых пор! Что вы строите из себя простачков, играя друг с другом в поддавки? Если ты в самом деле хочешь узнать, что такое справедливость, так не задавай вопросов и не кичись опровержениями – ты знаешь, что легче спрашивать, чем отвечать, – нет, ты сам отвечай и скажи, что ты считаешь справедливым. Да не вздумай мне говорить, что это – должное, или что это – полезное, или целесообразное, или прибыльное, или пригодное, – что бы ты ни говорил, ты мне говори ясно и точно, потому что я и слушать не стану, если ты будешь болтать такой вздор.

– Фрасимах, не сердись на нас. Если мы – я и вот он – и погрешили в рассмотрении этих доводов, то, смею тебя уверить, погрешили невольно. Неужели ты думаешь: если бы мы искали золото, мы стали бы друг другу поддаваться, так что это помешало бы нам его найти? Между тем **мы разыскиваем справедливость, предмет драгоценнее всякого золота** – ужели же мы так бессмысленно уступаем друг другу и не прилагаем всяческих стараний, чтобы его отыскать? Ты только подумай, мой друг! Нет, это, по-моему, просто оказалось выше наших сил, так что вам, кому это под силу, гораздо приличнее пожалеть нас, чем сердиться.

Услышав это, Фрасимах усмехнулся весьма сардонически и сказал:

– О Геракл! Вот она **обычная ирония Сократа!** Я уж и здесь всем заранее говорил, что ты не пожелаешь отвечать, прикинешься простачком и станешь делать все что угодно, только бы увернуться от ответа, если кто тебя спросит.

– Ты мудр, Фрасимах, – сказал Сократ, – и прекрасно знаешь, что если ты спросишь, из каких чисел состоит двенадцать, но, задавая свой вопрос, заранее предупредишь: "Только ты мне не вздумай говорить, братец, что двенадцать – это дважды шесть, или трижды четыре, или шестью два, или четырежды три, иначе я и слушать не стану, если ты будешь молоть такой вздор", то тебе будет заранее ясно, думаю я, что никто не ответит на такой твой вопрос.

– Вот она, мудрость Сократа: сам не желает никого наставлять, а ходит повсюду, всему учится у других и даже не отплачивает им за это благодарностью.

– Что я учусь у других, это ты правду сказал, Фрасимах, но что я, по-твоему, не плачу благодарностью, это – ложь. Я ведь плачу как могу. А могу я платить только похвалой – денег у меня нет. С какой охотой я это делаю, когда кто-нибудь, по моему мнению, хорошо говорит, ты сразу убедишься, чуть только примешься мне отвечать: я уверен, что ты будешь говорить хорошо.

– А что, если я укажу тебе на другой ответ насчет справедливости, совсем не такой, как все эти ответы, а куда лучше?

– Какое же другое, как не то, которому должен подвергнуться невежда! А должен он будет поучиться у человека сведущего. Вот этого наказания я и заслуживаю.

### [О справедливости как выгоде сильнейшего]

– Так слушай же, Сократ. Справедливость, утверждаю я, это то, **что пригодно и сильнейшему.**

– Сперва я должен понять, что ты говоришь. Пока еще я не знаю. Ты утверждаешь, что пригодное сильнейшему – это и есть справедливое. Если Полидамант у нас всех сильнее в борьбе и в кулачном бою и для здоровья его тела пригодна говядина, то будет полезно и вместе с тем справедливо назначить такое же питание и нам, хотя мы и слабее его?

– Отвратительно это с твоей стороны, Сократ, – придавать моей речи такой гадкий смысл.

– Ничуть, благороднейший Фрасимах, но поясни свои слова.

– Разве ты не знаешь, что **в одних государствах строй тиранический, в других – демократический, в третьих – аристократический?**

– Как же не знать?

– И что в каждом государстве **силу имеет тот, кто у власти?**

– Конечно.

– Устанавливает же законы всякая власть в свою пользу: демократия – демократические законы, тирания – тиранические, так же и в остальных случаях. Установив законы, объявляют их справедливыми для подвластных – это и есть как раз то, что

полезно властям, а преступающего их карают как нарушителя законов и справедливости. Так вот я и говорю, почтеннейший Сократ: во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей власти. А ведь она – сила, вот и выходит, если кто правильно рассуждает, что справедливость – везде одно и то же: то, что пригодно для сильнейшего.

– Теперь я понял, что ты говоришь. Попытаюсь также понять, верно это или нет. В своем ответе ты назвал пригодное справедливым, хотя мне-то ты запретил отвечать так. У тебя только прибавлено: "для сильнейшего".

– Ничтожная, вероятно, прибавка!

– Еще неясно, может быть, она и значительна. Но ясно, что надо рассмотреть, прав ли ты. Я тоже согласен, что справедливость есть нечто пригодное. Но ты добавляешь "для сильнейшего", а я этого не знаю, так что это нужно еще подвергнуть рассмотрению.

– Рассматривай же.

– Я так и сделаю. Скажи-ка мне, не считаешь ли ты справедливым повиноваться властям? А власти в том или ином государстве непогрешимы или способны и ошибаться?

– Разумеется, способны и ошибаться.

– Следовательно, принимаясь за установление законов, они одни законы установят правильно, а другие неправильно? Так я по крайней мере думаю. Правильные установления властям на пользу, а неправильные – во вред. Или как по-твоему?

– Да, так.

– Значит, справедливым будет, согласно твоему утверждению, выполнять не только пригодное сильнейшему, но и противоположное, то есть непригодное.

– Что это такое ты говоришь?

– То же самое, что и ты, как мне кажется. Давай, рассмотрим получше: разве мы не признали, что власти, обязывая подвластных выполнять свои предписания, иной раз ошибаются в выборе наилучшего для самих же властей. Так подумай и о том, что ты

ведь признал справедливым выполнять также и то, что идет во вред властям и вообще тем, кто сильнее: когда власти неумышленно предписывают что-нибудь самим себе во вред, ты все-таки утверждаешь, что справедливым будет выполнять их предписания. В этом случае, премудрый Фрасимах, разве дело не обернется непременно таким образом, что справедливым будет выполнять как раз противоположное тому, что ты говоришь? Ведь здесь подчиненным предписывается выполнять то, что вредно сильнейшему.

– Да, клянусь Зевсом, Сократ, – воскликнул Полемарх, – это совершенно ясно.

– Особенно, если ты засвидетельствуешь это Сократу, – заметил ему другой софист Клитофонт.

Сократ продолжил:

– К чему тут свидетели? Признал же сам Фрасимах, что власти иной раз дают предписания во вред самим себе, между тем для подвластных считается справедливым эти предписания выполнять.

– Да ведь он считал, Клитофонт, справедливое тем, что пригодно сильнейшему. Установив эти два положения, он также согласился, что власть имущие иной раз приказывают то, что им самим идет во вред.

– И крючокотвор же ты, Сократ, в твоих рассуждениях! Того, например, кто ошибочно лечит больных, назовешь ли ты врачом за эти его ошибки? Или мастером счета того, кто ошибается в счете именно тогда, когда он ошибается, и именно за эту его ошибку? Думаю, мы только в просторечье так выражаемся: "ошибся врач", "ошибся мастер счета" или "учитель грамматики"; если же он действительно то, чем мы его называем, он, я думаю, никогда не совершает ошибок. По точному смыслу слова, раз уж ты так любишь точность, никто из мастеров своего дела в этом деле не ошибается. Ведь **ошибаются от нехватки знания, то есть от недостатка мастерства**. Так что, будь он художник, или мудрец, или правитель, никто не ошибается, когда владеет своим мастерством, хотя часто и говорят: "врач ошибся", "правитель ошибся". В этом смысле ты и понимай мой ответ. Вот он с полнейшей точностью:



правитель, поскольку он действительно настоящий правитель, ошибок не совершает, он безошибочно устанавливает то, что для него всего лучше, и это должны выполнять те, кто ему подвластен.

– Довольно об этом. Скажи-ка мне лучше: вот тот, о котором ты недавно говорил, что он в точном смысле слова врач, – думает ли он только о деньгах, или он печется о больных?

– Печется о больных.

– А кормчий? Подлинный кормчий – это начальник над гребцами или и сам он гребец?

– Начальник над гребцами.

– Стало быть, каждый из них, то есть и врач и кормчий, обладает какими-нибудь полезными сведениями? Не для того ли вообще и существует искусство, чтобы отыскивать и изобретать, что кому пригодно?

– Да, для этого.

– Значит, врачевание рассматривает не то, что пригодно врачеванию, а то, что пригодно телу.

– Да.

– Но ведь всякое искусство, Фрасимах, это власть и сила в той области, где оно применяется.

Фрасимах согласился с этим, хотя и крайне неохотно.

– Следовательно, любое искусство имеет в виду пригодное не сильнейшему, а слабейшему, которым оно и руководит. Значит, врач – поскольку он врач – вовсе не имеет в виду и не предписывает того, что пригодно врачу, а только лишь то, что пригодно больному. Ведь мы согласились, что в точном смысле этого слова **врач не стяжатель денег, а управитель телами**. Или мы в этом не согласились?

Фрасимах ответил утвердительно.

– Следовательно, Фрасимах, и **всякий, кто чем-либо управляет, никогда, поскольку он управитель, не имеет в виду и не предписывает того, что пригодно ему самому, но только то, что пригодно его подчиненному, для которого он и творит. Что бы он**



ни говорил и что бы ни делал, всегда он смотрит, что пригодно подчиненному и что тому подходит.

– Да ведь твоя нянька забывает даже утирать тебе нос – ты **не отличаешь у нее овец от пастуха.**

– С чего ты это взял? – удивился Сократ.

– Потому что ты думаешь, будто пастухи либо волопасы заботятся о благе овец или волов, когда откармливают их и холят, и что делают они это с какой-то иной целью, а не ради блага владельцев и своего собственного. Ты полагаешь, будто и в государствах правители – те, которые по-настоящему правят, – относятся к своим подданным как-то иначе, чем пастухи к овцам, и будто они днем и ночью только и думают о чем-то ином, а не о том, откуда бы извлечь для себя пользу. "Справедливое", "справедливость", "несправедливое", "несправедливость" – ты так далек от всего этого, что даже не знаешь: справедливость и справедливое в сущности это чужое благо, это нечто, устраивающее сильнейшего, правителя, а для подневольного исполнителя это чистый вред, тогда как несправедливость – наоборот: она правит, честно говоря, простоватыми, а потому и справедливыми людьми. Подданные осуществляют то, что пригодно правителю, так как в его руках сила. Вследствие их исполнительности он преуспевает, а сами они – ничуть.

Надо обратить внимание, Сократ, величайший ты простака, на то, что **справедливый человек везде проигрывает сравнительно с несправедливым.** Прежде всего во взаимных обязательствах между людьми; когда тот и другой ведут какое-нибудь общее дело, ты нигде не найдешь, чтобы при окончательном расчете справедливый человек получил больше, чем несправедливый, – наоборот, он всегда получает меньше. Затем во взаимоотношениях с государством, когда надо делать какие-нибудь взносы: при равном имущественном положении справедливый вносит больше, а несправедливый меньше, и, когда надо получать, **справедливому не достается ничего, а несправедливый много выгадывает.** Да и когда они занимают какую-нибудь государственную должность, то у справедливого, если даже его не постигнет какая-нибудь другая беда, приходят в упадок его домашние дела, так как он не может

уделять им достаточно внимания, из общественных же дел он не извлекает никакой пользы именно потому, что он человек справедливый. Вдобавок он вызывает недовольство своих родственников и знакомых тем, что не хочет покровительствовать им, если это противоречит справедливости. А у человека несправедливого все это обстоит как раз наоборот.

Я повторяю то, что недавно говорил: обладание властью дает большие преимущества. Это ты и должен учитывать, если хочешь судить, насколько всякому для себя лично полезнее быть несправедливым, чем справедливым. Всего проще тебе будет это понять, если ты возьмешь несправедливость в ее наиболее завершенном виде, когда преуспевает как раз тот, кто нарушил справедливость, и в высшей степени жалок тот, кто на себе испытал несправедливость и все же не решился пойти против справедливости. Такова тирания: она то исподтишка, то насильственно захватывает то, что ей не принадлежит, – храмовое и государственное имущество, личное и общественное – и не постепенно, а единым махом. Частичное нарушение справедливости, когда его обнаружат, наказывается и покрывается величайшим позором. Такие частичные нарушители называются, смотря по виду своих злодеяний, то святотатцами, то похитителями рабов, то взломщиками, то грабителями, то ворами. Если же кто, мало того что лишит граждан имущества, еще и самих их поработит, обратив в невольников, – его вместо этих позорных наименований **называют преуспевающим и благоденствующим**, и не только его соотечественники, но и чужеземцы, именно потому, что знают: такой человек сполна осуществил несправедливость. Ведь те, кто порицает несправедливость, не порицают совершение несправедливых поступков, они просто боятся за себя, как бы им самим не пострадать. Так-то вот, Сократ: **несправедливость, достаточно обширная, сильнее справедливости, в ней больше силы, свободы и власти**, а справедливость, как я с самого начала и говорил, – это то, что пригодно сильнейшему, несправедливость же целесообразна и пригодна сама по себе.

Сказав это, Фрасимах намеревался было уйти, но Сократ его иронично остановил:

– Набросившись на нас с такой речью, ты собираешься уйти, между тем ты и нас не наставил в достаточной мере? Разве это не было бы руководством в жизни, следуя которому каждый из нас стал бы жить с наибольшей для себя целесообразностью?

– Я думаю, – сказал Фрасимах, – что это-то обстоит иначе.

– Но по-видимому тебе нет никакого дела до нас, тебе все равно, станем ли мы жить хуже или лучше в неведении того, что ты, по твоим словам, знаешь. Но, дорогой мой, дай себе труд открыть это и нам. Что касается моего мнения, то я говорю тебе, что я все-таки **не верю и не думаю, будто несправедливость выгоднее справедливости**, даже когда несправедливости предоставлена полная свобода действия. Допустим, дорогой мой, что кто-нибудь несправедлив, допустим, что он может совершать несправедливые поступки либо тайно, либо в борьбе, – все же это меня не убеждает, будто несправедливость выгоднее справедливости. Возможно, что и кто-нибудь другой из нас, а не только я, вынес такое же впечатление. Так убеди же нас как следует, уважаемый Фрасимах, что наше решение неправильно, когда **мы ставим справедливость значительно выше несправедливости**.

– Как же тебя убедить? – сказал Фрасимах. – Раз тебя не убедило то, что я сейчас говорил, как же мне еще с тобой быть?

– Ты прежде всего держись тех же взглядов, которые ты уже высказал, а если они у тебя изменились, скажи об этом открыто и не обманывай нас. Ты видишь теперь, Фрасимах (давай-ка еще раз рассмотрим прежнее): дав сперва определение подлинного врача, ты не подумал, что ту же точность надо потом сохранить, говоря и о подлинном пастухе. Ты думаешь, что он пасет овец, поскольку он пастух, не имея в виду высшего для них блага, а так, словно какой-то нахлебник, собирающийся хорошенько угоститься за столом; или, что касается доходов, – так, словно он стяжатель, а не пастух. Между тем для этого искусства важно, конечно, чтобы оно отвечало не чему-нибудь иному, а своему прямому назначению, и притом наилучшим образом, – тогда овцы и будут в наилучшем состоянии; такое искусство будет достаточным для этой цели, пока в нем нет никаких недочетов. Потому-то, думал я, мы теперь непременно согласимся, что всякая власть, поскольку она власть,

имеет в виду благо не кого иного, как тех, кто ей подвластен и ею опекаем – в общественном и в частном порядке.

– Правда, Фрасимах? Разве ты не замечаешь, что никто из других правителей не желает править добровольно, но все требуют вознаграждения, потому что от их правления будет польза не им самим, а их подчиненным? Скажи-ка мне вот что: не потому ли мы отличаем одно искусство от другого, что каждое из них имеет свое назначение? Только не высказывай, дорогой мой, чего-нибудь неожиданно странного – иначе мы никогда не кончим.

– Да, мы отличаем их именно поэтому.

– Следовательно, каждое приносит нам какую-то особую пользу, а не пользу вообще: например, врачевание – здоровье, кораблевождение – безопасность во время плавания и так далее.

– Конечно.

– А искусство оплачивать труд касается вознаграждения, ведь для этого оно и предназначено.

– Значит, у каждого из них эта самая польза, то есть получение платы, проистекает не от их собственного искусства. Если рассмотреть это точнее, то врачевание ведет к здоровью, а способ оплаты – к вознаграждению; строительное искусство создает дом, а искусство найма сопровождает это вознаграждением. Так и во всем остальном: каждое искусство делает свое дело и приносит пользу соответственно своему назначению. Если же к этому искусству не присоединится оплата, будет ли от него польза мастеру?

– Видимо, нет.

– Следовательно, Фрасимах, теперь это уже ясно: никакое искусство и никакое правление не обеспечивает пользы для мастера, но, как мы тогда и говорили, оно обеспечивает ее и предписывает своему подчиненному, имея в виду то, что пригодно слабейшему, а не сильнейшему. Поэтому-то я и говорил не так давно, дорогой Фрасимах, что никто не захочет добровольно быть правителем и заниматься исправлением чужих пороков, но всякий, напротив, требует вознаграждения, потому что кто намерен ладно применять свое искусство, тот никогда не действует и не

повелевает ради собственного блага, но повелевает только ради высшего блага для своих подчиненных. Вот почему для приступающих к правлению должно существовать вознаграждение – деньги либо почет или же наказание для отказывающихся управлять.

– Как так, Сократ? – сказал Главкон. – Первые два вида вознаграждения я знаю, но ты и наказание отнес к своего рода вознаграждению: этого я уже не понимаю.

– Значит, ты не понимаешь вознаграждения самых лучших, благодаря которому и правят наиболее порядочные люди – в тех случаях, когда они соглашаются управлять. Разве ты не знаешь, что честолюбие и сребролюбие считается позорным, – да и на самом деле это так?

– Я знаю.

– Так вот, хорошие люди потому и не соглашаются управлять – ни за деньги, ни ради почета: они не хотят прозываться ни наемниками, открыто получая вознаграждение за управление, ни ворами, тайно пользуясь его выгодами; в свою очередь и почет их не привлекает – ведь они не честолюбивы. Чтобы они согласились управлять, надо обязать их к этому и применять наказания. Вот, пожалуй, причина, почему считается постыдным добровольно домогаться власти, не дожидаясь необходимости. А самое великое наказание – это быть под властью человека худшего, чем ты, когда сам ты не согласился управлять.

Если бы государство состояло из одних только хороших людей, все бы, пожалуй, оспаривали друг у друга возможность устраниваться от правления, как теперь оспаривают власть. Отсюда стало бы ясно, что по существу подлинный правитель имеет в виду не то, что пригодно ему, а то, что пригодно подвластному, так что всякий понимающий это человек вместо того, чтобы хлопотать о пользе другого, предпочел бы, чтобы другие позаботились о его пользе. Я ни в коем случае не уступлю Фрасимаху, будто справедливость – это то, что пригодно сильнейшему. Но мы еще обсудим это потом.

Для меня сейчас гораздо важнее недавнее утверждение Фрасимаха, будто жизнь человека несправедливого лучше жизни человека

**справедливого.** А ты, Главкон, что выбираешь? Какое из этих двух утверждений, по-твоему, более верно?

– По-моему, – сказал Главкон, – целесообразнее жизнь человека справедливого.

– А ты слышал, сколько разных благ приписал Фрасимах жизни человека несправедливого?

– Слышал, да не верю.

– Ну-ка, Фрасимах, – сказал Сократ, – отвечай нам с самого начала. Ты утверждаешь, что совершенная несправедливость полезнее совершенной справедливости?

– Конечно, я это утверждаю, а почему – я уже сказал.

– Ну а как ты скажешь вот насчет чего: называешь ли ты одно из этих свойств добродетелью, а другое – порочностью?

– А почему бы нет?

– Значит, добродетелью ты назовешь справедливость, а порочностью – несправедливость?

– Не иначе, дражайший! То-то я и говорю, что **несправедливость целесообразна, а справедливость – нет!**

– Неужели, что справедливость порочна?

– Нет, но она – весьма благородная тупость.

– Но называешь ли ты несправедливость злоумышленностью?

– Нет, это здравомыслие.

– Разве несправедливые кажутся тебе разумными и хорошими?

– По крайней мере те, кто способен довести несправедливость до совершенства и в состоянии подчинить себе целые государства и народы. А ты, вероятно, думал, что я говорю о тех, кто отрезает кошельки? Впрочем, и это целесообразно, пока не будет обнаружено. Но о них не стоит упоминать; иное дело то, о чем я сейчас говорил.

– Мне прекрасно известно, что ты этим хочешь сказать, но меня удивляет, что **несправедливость ты относишь к добродетели и мудрости, а справедливость – к противоположному.**



– Конечно, именно так.

– Это уж слишком резко, мой друг, и не всякий найдет, что тебе сказать. Если бы ты утверждал, что несправедливость целесообразна, но при этом подобно другим признал бы ее порочной и позорной [безобразной], мы нашли бы, что сказать, согласно общепринятым взглядам. А теперь ясно, что ты станешь утверждать, будто несправедливость – прекрасна и сильна и так далее, то есть припишешь ей все то, что мы приписываем справедливости, раз уж ты дерзнул отнести несправедливость к добродетели и мудрости.

– Ты догадался в высшей степени верно.

– Оно, конечно, хоть и все равно, но попытайся вдобавок ответить еще на это: представляется ли тебе, что справедливый человек желал бы иметь какое-либо преимущество перед другим, тоже справедливым?

– Ничуть, иначе он не был бы таким вежливым и простоватым, как это теперь наблюдается.

– А ведь несправедливый человек все же бывает разумным и значительным, а справедливый – ни тем ни другим.

– Это тоже хорошо сказано.

– Значит, несправедливый человек бывает похож на человека разумного и значительного, а справедливый, напротив, не похож?

– Как же человеку не быть похожим на себе подобных, раз он сам таков? А если он не таков, то и не похож.

– Прекрасно. Значит, каждый из них таков, как те, на кого он похож.

– А почему бы и нет?

– Пусть так. А скажи, Фрасимах, называешь ли ты одного человека знатоком музыки, а другого – нет?

– Конечно.

– Какой же из них разумен, а какой – нет?

– Знаток музыки, конечно, разумен, а незнаток – неразумен.



- И раз он разумен, значит, это человек выдающийся, а кто неразумен – ничтожен?
- Да.
- А врач? Назначая ту или иную пищу и питье, притязает ли он этим на что-то большее, чем быть врачом и знать врачебное дело?
- Нет, нисколько.
- А притязает ли он на что-то большее, чем не-врач?
- Да.
- примени же это к любой области знания и незнания. Считаешь ли ты, что **знаток любого дела притязает на большее в своих действиях** и высказываниях, чем другой знаток того же дела, или на то же самое (в той же области), что и тот, кто ему подобен?
- Пожалуй, я должен согласиться с последним.
- А невежда? Разве он не притязал бы на большее одинаково в сравнении со знатоком и с другим невеждой?
- Возможно.
- А знаток ведь человек мудрый?
- Я полагаю.
- А мудрый человек обладает достоинствами?
- Полагаю.
- Значит, человек, обладающий достоинствами, и к тому же мудрый, не станет притязать на большее сравнительно с ему подобным, а только с тем, кто на него не похож, то есть ему противоположен.
- По-видимому.
- Человек же низких свойств и невежда станет притязать на большее и сравнительно с ему подобным, и сравнительно с тем, кто ему противоположен.
- Очевидно.
- Следовательно, **справедливый человек схож с человеком мудрым и достойным, а несправедливый – с человеком плохим и невеждой.**

– Пожалуй, что так.

– Но ведь мы уже признали, что **кто на кого похож, тот и сам таков.**

– Признали.

– Следовательно, у нас оказалось, что **справедливый – это человек достойный и мудрый, а несправедливый – невежда и недостойный.**

Хотя Фрасимах и согласился со всем этим, по далеко не с той легкостью, а еле-еле, через силу.

Сократ сказал:

– Мы оба признали, что **справедливость – это добродетель и мудрость, а несправедливость – порочность и невежество.** Будем считать это у нас уже установленным. Но мы еще утверждали, что **несправедливость могущественна.** Или ты не помнишь, Фрасимах?

– Помню.

– Я спрашиваю о том же, что и недавно, чтобы наше рассуждение шло по порядку: а именно, как относится справедливость к несправедливости? Ведь раньше **было сказано, что несправедливость и могущественнее, и сильнее справедливости.** Теперь же, раз справедливость – это мудрость и добродетель, легко, думаю я, обнаружится, что она и сильнее несправедливости, раз та не что иное, как невежество. Это уж всякий поймет.

Но я не хочу, Фрасимах, рассматривать это так плоско, а скорее вот в каком роде: признаёшь ли ты, что государство может быть несправедливым и может пытаться несправедливым образом поработить другие государства и держать их в порабощении, причем многие государства бывают порабощены им?

– А почему бы нет? Это в особенности может быть осуществлено самым превосходным из государств, наиболее совершенным в своей несправедливости.

– Я понимаю, что таково было твое утверждение. Но я вот как его рассматриваю: государство, становясь сильнее другого государства, приобретает свою мощь независимо от справедливости или же обязательно в сочетании с нею?

– Если, как ты недавно говорил, **справедливость – это мудрость, тогда – в сочетании со справедливостью**. Если же дело обстоит, как говорил я, то – **с несправедливостью**.

– И хорошо делаешь. Угоди же мне еще вот чем: скажи, как, по-твоему, **государство, или войско, или разбойники, или воры, или еще какой-либо народ, несправедливо приступающий сообща к какому-нибудь делу, может ли что-нибудь сделать, если эти люди будут несправедливо относиться друг к другу?**

– Конечно, нет.

– А если не будут относиться несправедливо, тогда скорей?

– Еще бы!

– Ведь **несправедливость, Фрасимах, вызывает раздоры, ненависть, междоусобицы, а справедливость – единодушие и дружбу**. Не так ли?

<Единодушие (homonoia) и дружба (philia) были возведены в принцип справедливой государственной власти с развитием новых, космополитических, а не узкополисных идей растущего эллинистического общества. У Ксенофонта Сократ в беседе с софистом Гиппием говорит: "Единодушие граждан, по общему мнению, есть величайшее благо для государства... везде в Элладе есть закон, чтобы граждане давали клятву жить в единодушии, и везде эту клятву дают">

– Пусть будет так, чтобы не спорить с тобой.

– Это хорошо с твоей стороны, почтеннейший. Скажи-ка мне вот что: если несправедливости, где бы она ни была, свойственно внедрять ненависть повсюду, то, возникши в людях, все равно, свободные ли они или рабы, разве она не заставит их возненавидеть друг друга, не приведет к распрям, так что им станет невозможно действовать сообща?

– Конечно.

– Если же, Фрасимах – удивительный ты человек! – несправедливость возникнет только у одного, разве потеряет она тогда свойственную ей силу? Или же, наоборот, она будет иметь ее несколько не меньше?

– Пускай себе имеет ничуть не меньше.

– А силу она имеет, как видно, какую-то такую, что, где бы несправедливость ни возникла – в государстве ли, в племени, в войске или в чем-либо ином, – она прежде всего делает невозможным действия этих групп, поскольку эти действия сопряжены с ней самой, – ведь она ведет к раздорам, к разногласиям, внутренней и внешней вражде, в том числе и к справедливому противнику. Разве не так?

– Конечно, так.

– Даже возникая в одном человеке, она производит все то, что ей свойственно совершать. Прежде всего она делает его бездейственным, так как он в раздоре и разладе с самим собой, он враг и самому себе, и людям справедливым. Не так ли?

– Да.

– Но справедливы-то, друг мой, и боги?

– Пусть так.

– А богам, Фрасимах, несправедливый враждебен, а справедливый им – друг.

– Ну так дополни это мое угощение еще и остальными ответами, подобно тому как ты это делал сейчас. Обнаружилось, что справедливые люди мудрее, лучше и способнее к действию, несправедливые же не способны действовать вместе. Хотя мы и говорим, что когда-то кое-что было совершено благодаря энергичным совместным действиям тех, кто несправедлив, однако в этом случае мы выражаемся не совсем верно. Ведь они не пощадили бы друг друга, будь они вполне несправедливы, стало быть ясно, что было в них что-то и справедливое, мешавшее им обижать как друг друга, так и тех, против кого они шли.

Нам остается еще исследовать то, что мы вслед за тем решили подвергнуть рассмотрению, то есть лучше ли живется людям справедливым, чем несправедливым, и счастливее ли они. Хотя, по-моему, это уже и теперь видно из сказанного, все же надо рассмотреть это основательнее – ведь речь идет не о чем попало, а о том, каким образом надо жить.

- Так рассмотри же это.
- Я это и делаю. Ну, вот скажи мне, есть, по-твоему, у коня какое-нибудь назначение?
- По-моему, да.
- А можешь ли ты видеть чем-нибудь иным, кроме глаз?
- Нет, конечно.
- Ну а слышать чем-нибудь иным, кроме ушей?
- Ни в коем случае.
- Ну а ветви виноградной лозы можешь ты обрезать садовым и простым ножом и многими другими орудиями?
- Конечно.
- Но ничем не обрежешь их так хорошо, как особым серпом, который для того-то и сделан.
- Это правда.
- Теперь, я думаю, ты лучше поймешь мой недавний вопрос: не будет ли назначением каждой вещи то, что кто-нибудь выполняет только с ее помощью или лучше всего пользуясь ею, чем любой иной вещью?
- Понимаю. По-моему, это и будет назначением каждой вещи.
- Хорошо. А находишь ли ты, что раз у каждой вещи есть свое назначение, то у нее должны быть и свои достоинства? Вернемся к нашим примерам: признаем ли мы, что глаза имеют свое назначение?
- Погоди-ка. Могут ли глаза хорошо выполнять свое назначение, если у них нет свойственных им достоинств, а вместо этого – одни недостатки?
- Как можно! Вместо зрения ты, верно, говоришь о сплошной слепоте.
- Именно зрение и составляет достоинство глаз. Но я пока не об этом спрашиваю, а о том, не вследствие ли присущих им достоинств глаза хорошо выполняют свое назначение, а при недостатках – плохо.

- Подведем ли мы и все остальное под это правило?
- По-моему, да.
- Тогда рассмотри после этого вот что: есть ли у души какое-либо назначение, которое нельзя выполнить решительно ничем другим из существующего, – например заботиться, управлять, советоваться и тому подобное? Есть ли что-нибудь другое, кроме души, к чему мы с полным правом могли бы все это отнести и сказать, что это его дело?
- Другого такого нет ничего.
- Опять-таки – жизнь: признаем ли мы, что это дело души?
- Безусловно.
- Стало быть, мы признаем, что у души есть какое-то присущее ей достоинство?
- Признаем.
- А лишившись этого присущего ей достоинства, может ли душа хорошо выполнять свое назначение или это невозможно?
- Невозможно.
- Стало быть, **правление и попечение низкой души неизбежно будет плохим, а у возвышенной души все это выходит хорошо.**
- Это необходимо.
- Но ведь мы согласились, что **достоинство души – это справедливость, а недостаток – несправедливость.**
- Да согласились.
- Значит, справедливая душа и справедливый человек будут жить хорошо, а несправедливый – плохо.
- Видно так, согласно твоему рассуждению.
- Но кто живет достойно, тот человек благоденствующий и счастливый, а кто живет недостойно – как раз несчастный.
- Да, не иначе.
- Следовательно, справедливый счастлив, а несправедливый – это жалкий человек.

– Пусть так.

– Но что за прок быть жалким? Иное дело – быть счастливым.

– Как же иначе?

– Следовательно, – чудак ты, Фрасимах! – **несправедливость никогда не может быть целесообразнее справедливости.**

Впрочем, я еще не вдоволь угостился – в этом моя вина, а не твоя. Как лакомки, сколько бы чего ни подали к столу, набрасываются на каждое блюдо, дабы отведать и его, хотя они еще недостаточно насладились предыдущим, так, по-моему, и я: не найдя ответа на то, что мы рассматривали сначала, а именно на вопрос, что такое справедливость, я бросил это и кинулся исследовать, будет ли она недостатком и невежеством, или же она – мудрость и добродетель; а затем, когда я столкнулся с утверждением, будто несправедливость целесообразнее справедливости, я не удержался, чтобы не перейти от того вопроса к этому. Так-то и вышло, что сейчас я ничего не вынес из этой беседы. Раз я не знаю, что такое справедливость, я вряд ли узнаю, есть ли у нее достоинства или нет, и несчастлив ли обладающий ею или, напротив, счастлив.